

И вновь: круг Багрицкого

Наш альманах продолжает знакомить одесситов с воспоминаниями одного из друзей Эдуарда Багрицкого — Перикла Ставрова. Напомним, что, уехав в эмиграцию, Ставров издал в Париже две книги стихов, опубликовал в газетах и журналах рассказы и воспоминания. В годы второй мировой войны он возглавил русскую писательскую организацию Парижа.

Благодаря помощи нашего коллеги, журналиста Виталия Амурского, живущего в Париже, мы получили возможность в Одессе издать книгу П. Ставрова, и вот уже второй раз, в альманахах, возвращаемся к его воспоминаниям.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Перикл СТАВРОВ

Эдя Багрицкий и другие

(Одесса 1917-1918)

Февральская революция случилась, как известно, в феврале. В Одессе месяц этот самый скверный. С черного¹ бушующего моря дует свирепая "трамонтана", посвистывает в улицах и переулках, срывает с обледелой мостовой, завивает струйками снежную порошу, режет, колет, истязает человеческую плоть. Хотя и полагалось в этот год улыбаться — потому что [революция] была "улыбающаяся" — однако граждане на уличных митингах гримасничали от холода, а требование "без аннексий и контрибуций" подтверждали притаптывая, отбивая дикий танец обледелыми подошвами.

Зато весна началась у нас с марта. Сперва погуливал еще ветер, холодноватый, но было в нем уже нечто ласковое, обещающее. Про весну не говорили, но знали наверное — будет. Потом весна развертывалась, как полагается, по-хорошему.

Море — темная синька, только нежным серебром поблескивает, скалы оранжевые, красные такие, что глазам больно смотреть, от воздуха — голова кружится. А кроме того известно — скоро акация будет цвести. Одно слово — улыбающаяся.

В то время я состоял приставом Бульварного участка (самого главного). Собственно был я студентом, — 3 пуда пять фунтов весу — но так полагалось по революции. Настоящий же, дородный пристав (вес не мень-

ше пяти пудов), в усах с подусниками, но уже в партикулярном платье, приходил иногда смотреть на мою работу. Под началом у меня были в качестве надзирателей что ли, лихой поэт Эдя Багрицкий, а также "вождь предутренних рассветов", тоже поэт, с тоненькой на кадыке шеей, Анатолий Фиолетов. Он уже тогда от всего сердца написал:

О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования,

но все еще по-юношески рвался куда-то, и после милиции в сыскное отделение пошел служить. Там он и оставался, пока фальшивомонетчики его не прихлопнули.

В общем, поэтический был состав. Правда, в качестве "спецов" оставались и бывшие городовые, без шашек, но со штатскими на кителях пуговицами. Стеснялись, при дежурстве сидели на казенных скамейках, нахохлившись, в ряд, как крупные воробьи. Багрицкий им в утешение новую свою поэму "Труба победы" читал.

Скучным было помещение нашего участка. Пол затертый, заплесанный, в окурках. Стены — снизу серые, с коричневой полоской, сверху — в грязной извешке. Столы — изрубленные какие-то, в черных пятнах, унылые вдоль стен скамейки. Очень уже неподходящее для поэтов место.

Городовые над нашей работой втихомолку подсмеивались. И то сказать, какого нам воришку не приведут, дня через два-три он неизменно возвращался в свободное состояние. Помещение участка было тесное, держать их было негде, а в тюрьме заняты более важными делами — политическими. При этом же мой комиссар — он же мой профессор уголовного права Немировский — полицейскими делами никак не интересовался. Случился у меня налет с убийством. Тут я, конечно, разгорячился. Убийство, кровь, Шерлок Холмс, дедуктивный метод и прочее. В три часа ночи звонок Немировскому: "Так мол и так, профессор, немедленно приезжайте".

А он в ответ сонным таким голосом: "И чего вы, молодой человек, в ночное время меня будите? Я спать хочу, у меня завтра с утра лекции. Ну, налет, ну, убили... много будет еще налетов. Плюньте вы на все это дело, молодой человек...".

Так он меня расхолаживал. По правде, мы не очень досконально полицейское дело знали.

Однажды отправились мы на обыск в глухое предместье, в веселый подозрительный домик. Там, якобы, скрывали краденое добро. Вначале все было, как полагается, — даже браунингами хозяйке угрожали — ну, а потом Багрицкий стал девицам стихи читать. Из краденого ничего не нашли, реквизировали только две бутылки самогонной водки. Водку распивали перед участком на Соборной площади, под звездным небом. Фиолетов про бедного мальчика Оливера Твиста стихи читал, про Индию рассказывал, куда собирался бежать, заработав на уголовных расследованиях. Багрицкий великолепным голосом рычал на Николая Асеева (должно быть, девицы его разволновали):

Ты в маске электрической
Похаживаешь мимо,
А я — на Дон, на Дон, на Дон
Зову тебя очима...

Причем это "на Дон" выходило у него немного в нос, но мы этого не замечали. Ну, а потом из Бориса Пастернака:

Акацией пахнет и окна распахнуты
И страсть, как свидетель, седеет в углу...ⁱⁱ

Акацией пахло, действительно, но одурения и страсти к стихам было немало...

Однако по поводу этого обыска, дня через два арестованный дядя-рецидивист нам наставительно советовал: "Бросьте вы, паничи, грязным делом заниматься. В такое нехорошее время к черту на куличики неизвестно для чего ходите, Мы, конечно, вас, молоденьких, жалеем, а будь вы постарше, мы вас там обязательно "пришили". Не в свое дело нос суετε...".

Так и с этой, преступной стороны, мы не имели никакого поощрения...

Девиц этих самых приводили к нам в участок после еженедельной облавы стаями. Хотя Блок, даже много позже, писал:

На время — десять, за ночь — двадцать пять,
Меньше ни с кого не братьⁱⁱⁱ,

однако уже тогда, несмотря на всеобщую свободу, этим делом заниматься не полагалось. А я их все же немедленно на волю отпускал. Что с ними в

такое революционное время делать? За то они ко мне с величайшим уважением относились, покровителем считали, пальцем на меня, когда я по ихнему Красному переулку проходил, в назидание младшим поколениям указывали...

Отдыхали мы от полицейских трудов в Летнем саду Литературно-артистического клуба, короче "Литературке". Сад был, собственно, садиком, выходившим на площадь имени Екатерины Великой. Императрица стояла посреди площади громадная, чугунная, окруженная такими же чугунными сподвижниками. Собственно говоря, мы только знали, что она там стоит, но ее самоё не видели, так как на месте ее возвышался какой-то серый, грязноватый торчок. Революция накрыла Императрицу полотняным мешком — дабы освобожденному населению на прежнюю свою угнетательницу смотреть неповадно было.

По этому поводу наш известный карикатурист Мад^{iv} сострил: "Ну, и одесситы! Даже Екатерину Великую умудрились накрыть!". Ну, по правде говоря, так как все было необычайно в те летние месяцы, то одесситы на мешок не очень обращали внимание.

А садик был очень симпатичный или, по крайней мере, таким он мне сейчас кажется. Трельяжи из зелени, все под теми же акациями, сверху — ночное беспредельное небо, полная луна, превращавшая все в какую-то оперную декорацию. Конечно, при том самогонная водка, стыдливо подававшаяся в закрытых чайниках. Революции тогда полагалось быть не только улыбающейся, но и трезвой, хотя бы для виду.

Каждый вечер приходили в клуб молодые (действительно молодые!) писатели и поэты. Валя Катаев — в необычной форме. Он эти формы очень любил и впоследствии, в связи со сменой властей, их соответственно менял. Мы называли его гусаром, так как был он полон жажды "врубиться" в литературу, завоевать. Напористый был молодой человек.

Приходил и Юрий Олеша, низенький, коренастый, талантливый и нахальный. Он тогда еще был поэтом, звезду Альдебаран воспевал, но будущее свое предвидел и о длинном романе заговаривал.

Рыженький Ильф приходил на старших посмотреть. В те отдаленные времена он о славе не помышлял, а Петров был просто братом Валентина Катаева. Ильф — милый такой, умненький, молчит, молчит — только пэнснэ поблескивает — и вдруг слово такое скажет, что все расхохотутся. Ну, а Сему Кирсанова^v по молодости лет мама еще в клуб не пускала. Так, на улице кого-нибудь из нас остановит и стихами, мальчишка, захлебывается. Помню был среди нас Горностаев, поэт из семинаристов (он, кажет-

ся остался преподавателем в семинарии). Худой, высокий, даже согнувшийся немного под тяжестью роста, он мне напоминал — вероятно, из-за своего украинского акцента — Хому Брута. Читал он стихи на библейские темы, низким, загробным каким-то басом, так что мягкое украинское "г" звучало у него подземным гулом. Из стихов его все забыл, осталась только одна строчка:

Давил я, давил я, давил виноград...

а какой именно виноград и почему он его так старательно давил — не упомяну.

Веселил нас "душа общества", Петр Сторицын^{vi}. Лысый, толстый, потный считался он среди нас отпетым стариком, хотя ему было всего лет сорок пять. Тем не менее, несмотря на пожилой возраст, у него оставался в Петербурге живой, богатый папа. Папа, очевидно, на сына рукой махнул, но все же деньги время от времени посылал, а мы этими деньгами пользовались. Сборник стихов "Шелковые фонари" на эти деньги вышел. Поэтому Петр Сторицын шел у нас за мецената. Чудак был невероятный, графоман с сумасшедшинкой. Стихи писал плохие, но читал их, задыхаясь от восторга, брызгая вокруг себя слюной, так что надо было держаться на солидном расстоянии.

Будучи сам не от мира сего, любил сидеть в главном одесском кафе — "Фанкони", где по поводу смутного времени собирались спекулянты, торговали всеми, главным образом, несуществующими товарами — "воздухом" — торговали.

Лето жаркое. Сторицын неизвестно для чего там сидит, обливается потом. Подойдешь к нему, спросишь: "чего вы тут, собственно торчите", — а он во весь рост встанет, руки растопырит, слюной побрызгает и на все кафе рявкнет:

"Ау — аач! Торгую потом!"

Так он в спекулятивную среду своего рода поэзию вносил.

Вот и председатель "Литературки" Хмельницкий, так тот, наоборот, с поэтических облаков нас в земные дела тянул. Он тогда еще был просто присяжным поверенным и коммунистом, папой сына своего — наркома юстиции. Почему он был председателем Литературно-художественного клуба — до сих пор не понимаю.

Сидим мы, бывало, в садике под цветными фонариками. Аромат летней ночи, сверху полная луна светит, на столе — водка с закуской (и ар-

тистки очень интересные клуб посещали). Сидим, водка к сердцу поднимается, стихи по очереди читаем, о поэзии спорим. А папа Хмельницкий подсядет неожиданно и прозаическим таким тоном всю поэзию сорвет:

"Молодые люди, довольно пустяками заниматься. Пойдем в общий зал чай пить".

Ну, а потом, как известно, наступил октябрь — месяц осенний.

II.

...Октябрь 1917 года... Все мы знаем, во что с этого месяца обратилась "улыбающаяся", "бескровная". Однако на севере и на юге превращение происходило по-разному. На севере: "вся власть советам!" — и никаких, и точка. У нас же, на пылком, изменчивом юге по очереди: и "Deutschland über alles" и "Вся власть советам" и "Е д и н а я, неделимая" и "Хай живе вильна Украина", и "Vive la France" и просто "грабь награбленное", и "бей, спасай", и такие еще лозунги, что вспомнить стыдно. Власти сменялись многократно и бурно; от смены этой одесситы чумели.

Прахом распадалась тогда старая Россия. Это о ней в душе думал (или казалось мне) Максимилиан Волошин, когда, проездом через Одессу, возвещал нам, потряхивая львиной гривой, про прах Лже-Дмитрия, как этим прахом

...пушку зарядили
С четырех концов Москвы палили
На четыре стороны земли...
.....
Вот тогда-то стало их много^{vii}:

— и Петлюра, и Махно, и Муравьев, и Котовский, и прочие — помельче...

Все это происходило в большом историческом мире, где дул тогда "ветер, ветер на всем Божьем свете". В нашем же маленьком, поэтическом, происходили события иного порядка, а потом познали мы горький вкус "мировых событий". Осиротели, друга потеряли, Анатолия Фиолетова, что, мечтая об Индии, в сыское отделение пошел служить, убили на рынке фальшивомонетчики. Не поладил с преступным миром и получил пулю в сердце. Нежный был мальчик, тоненький, слабогрудый, для полицейской профессии совсем не подходящий.

А за два дня до смерти вот что он написал:

Не архангельские трубы
Деревянные фаготы,
Пели мне о жизни грубой,
О печалях и заботах.

И опять, как прежним летом
Не пишу и не читаю,
Озаренный тихим светом
Дни прозрачные считаю.

Не скорбя и не ликуя
Ожидаю смерти милой
Золотого аллилуйя
Над высокою могилой...

Милый Боже! Неужели
Я метнусь в благой дремоте?
Все прошло, над всем пропели
Деревянные фаготы...^{viii}

Архангельские трубы — мечта об Индии, деревянные фаготы — сыскное отделение... Одолели поэта деревянные фаготы...

Фиолетов страдал врожденным пороком сердца. Говорят, сердце таких людей живет в предчувствии смерти. Но все же, все же, почему за два лишь дня до того, как получить пулю в это бедное сердце, написал он такое пророческое стихотворение? Вот я это стихотворение и запомнил...

И то сказать, всех событий и смен не запомнить. Были даже такие месяцы, когда город делился на три зоны: французскую (оккупационную), советскую и украинскую. Непонятно было, какие документы предъявлять и какую политическую программу излагать при встрече с очередным патрулем. Опять же — разобрать трудно, какой, например, патруль большевистский, какой украинский. А иногда одна власть отвоевывала у другой несколько улиц и переулков — и тогда здорово постреливали. Бандитские же по ночам налеты, те были, так сказать, интернациональными, без всяких политических платформ.

Бывали и неожиданности. В который-то раз — "окончательно" овладели городом большевики. Раскрываю утром газету — то есть, никакой газеты, простите, я не раскрывал, потому что это был просто листок желтой

оберточной бумаги, на котором печатались лозунги и декреты — одним словом, гляжу я в этот самый листок и — на первом месте, заглавными буквами: "Долой смертную казнь" и "Да здравствует человеческое достоинство!". А как же нас перед тем добровольческий "Осваг"^{ix} большевистским террором пугал! На душе легче стало, но не очень всему этому верится. Был у меня тогда ход (сейчас, в Париже, сказал бы: *tuyau*), чтобы правду узнать. Начальник Чека, товарищ Северный, реквизировал комнату у моего кузена, Стамерова, владельца Стамеровского театра. (Собственно я его сейчас из уважения к кузеновой памяти Стамеровским величаю, а у одесситов назывался он — Сибиряковским. Кузен очень сердился: "Я его у Сибирякова после пожара откупил, стало быть, он теперь Стамеровский". Ничего не помогало — так и остался: Сибиряковский.)

Так вот: робко стучусь я в дверь кузеновой квартиры (звонок, естественно, не действовал: электричество — только во время обысков) и думаю: ну, а как сейчас схватят, и, невзирая на человеческое достоинство, "разменяют"? А встретил меня кузен, улыбаясь, и на вопросы только рукой машет: "Товарищ Северный! Замечательный человек! Толстовец и поклонник Ганди. Мы с ним по вечерам учение о непротивлении злу разрабатываем"...

Подивился я тогда не мало. Начальник Чека, он, согласно "Освагу", над всей Россией кровожадным пауком простираться должен, и вдруг — Толстой и Ганди.

Только было кратковременным мое удивление — через несколько дней сняли товарища Северного. Для занимаемого поста оказался неподходящим. И стали в Чека, как полагалось, буржуев, несмотря на человеческое достоинство, разменивать. А за товарища Северного (дай Бог ему здоровья), потом, при очередной смене власти, даже генералы подпись свою давали, потому что воистину замечательный человек был...

Все пошло обычным путем... Аресты, обыски, расстрелы, вместо электричества — лампадное масло, вместо жалования — фитильки от лампадок... Был и голод. Одно утешение, не такой, например, как на севере. Покойный К.В. Мочульский^x тогда из Петрограда приехал и все удивлялся, что мы еще иногда едим селедку с картошкой. "У нас", рассказывал, "только шелуха картофельная и селедочные головки". Мы тогда еще наивными были и было нам невдомек: если населению шелуха и головки, то кто же, собственно, самый картофель и селедку ел? Потом только, много позже, мы эту механику поняли...

Все же интеллигенция — артисты, художники, литераторы — кое-как

приспособлялись. Я, например, красноармейцам лекции по живописи читал. Правда, никак не мог добиться, чтобы они Леонардо да Винчи от Репина отличали. И все же, надо сказать, между ними были очень симпатичные парни — душевно живописью интересовались.

Покойный артист Б. Глаголин даже журнал литературный основал, — с пролетарским направлением. Так — статейка о пролетарском искусстве, а под ее сенью проскальзывали стихи "о розах и соловьях". Для пушного тумана журнал назывался "Театруда" — надо читать "Театр труда". Что это, собственно, значило, думаю, едва ли сам Глаголин знал.

Некоторые сотрудники у него были совершенно в духе времени. Инженер Бабичев, например, писатель, он же клинический параноик, он же "Антихрист от самого своего рождения". Бабичев так и начинал свои статьи в этой самой "Театруде": "Я, Антихрист, признанный вершить судьбы вселенной" ... Однако, уж такое тогда [было] планетарное время, что и Антихриста принимали за своего человека.

Ходил Бабичев с туго набитым портфелем и с куском тормоза от старой "конки". Тормоз этот служил ему вместо радио для сообщения с другими планетами — с Марсом, например. Вид у Бабичева был неизменно озабоченный: легко ли, в самом деле, "Коммуну Земного Шара" организовывать? Был он, повторяю, совершенно в духе того планетарного времени.

Так, явился как-то Бабичев в Наробраз к молодому коммунисту К. с вполне определенным планом "Театра Мировой Коммуны". Оба — и Бабичев, и К. — воспламенились, стали разрабатывать детали. Помещение наметили, артистов выбрали. "Ну, а сколько же вам, товарищ Бабичев, стульев понадобится. Я сейчас вам ордерок напишу" ... "Да, я думаю два миллиона на первое время хватит", — бодро ответил Антихрист. Тут пришлось товарищу К. из планетарных сфер спуститься в свой скромный Наробраз.

Да, безумная была эпоха, страшная, голодная и удивительная...

В этом тяжелом безвременьи пышно расцвела "южнорусская школа" (Багрицкий, Кирсанов, Олеша, Бабель, Катаев, Ильф и Петров...).

Пустынные были годы, "ветер, ветер на всем Божьем свете", а тоскливому, голодному, чтобы развеять тоску, всегда песни петь хочется. Араб в пустыне против извечной своей скуки борется песней. Конечно, бедный Иов был бы лучшим поэтом, чем процветающий делец Уолл-Стрита^{xi}... В благополучные времена поэзия бредет проторенными дорожками классицизма, романтизм процветает в нищете и лишениях.

Темная, зимняя советская ночь в Одессе. Фонари не горят. Тротуары, мостовые покрыты ледяной корой, трудно, спотыкаясь в темноте, проби-

раться меж сугробов наметенного ветром снега. Где-то вдали одиночные выстрелы. Кто его знает — бандитский ли это налет или просто балуется винтовкой пьяный красноармеец. По пустынным улицам бредет "стая" поэтов, распевая свои и чужие стихи. Не хотят сидеть дома, не согласны оставаться запуганными обывателями.

Видно, много теплоты романтического жара на душе у Багрицкого, если может он слагать такие стихи:

Земля надрывается от жары,
Термометр взорван... И на меня,
Грохоча осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту,
И вся дорога бежит, как ртуть^{xii}.

И не к ледяной советской ночи рвется его сердце.

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули.

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!^{xiii}

Может быть, в такую же ледяную ночь задумал сказать себе Кирсанов:

Понял я, что нет на свете
Выше, чем такое,
Чем держать другое сердце
Нежною рукою.

И пускай мое от боли
Разом разорвется,
Это в жизни, это в песне
Творчеством зовется...^{xiv}

Навстречу поэтам-бродягам патруль: "Что за странная публика? Ваши документы, товарищи!". Отвечает Юрий Олеша, по привычке насмешливым, но очень убедительным — свысока — тоном: "Мы, товарищи, не бандиты, не налетчики. Мы поэты — народ особенный"... Хочется от себя добавить: "... и последние романтики, которым в недалеком будущем придется стать "примерными" пролетарскими поэтами или кануть в небытие..."

Известно, что скромные, застенчивые люди тянутся в мечтах к сильным ощущениям, и бурной романтике. Скромного служащего, "очкастого" Бабеля увлекли похождения Бени Крика, лихие кавалерийские рейды буденовцев. С каким наслаждением произносил Бабель слова своего героя ("Конармия"): "Ну, и буду же я беспощадно рубать шляхту". Себя самого, видимо, видел на лихом коне, с высоко занесенной шашкой...

Настал НЭП. Старый мир, что стоял "поджавши хвост, как пес голодный"^{xv} не хочет без боя умирать. Здравый смысл — благоразумие — пытался еще воскреснуть после безумного октябрьского вихря. Поднимал голову новый — советский — оппортунизм. Столкновения старого и нового мира создавали коллизии — трагические и комические — почти шекспировского напряжения. Так родилась "Зависть" Юрия Олеша, "Двенадцать стульев", "Золотой теленок" Ильфа и Петрова. "Двенадцать стульев" сделались как-то сами собой. Два приятеля баловались "пробой пера". Ильф выдумывал, Петров "организовывал" и записывал. Послали роман на просмотр в Москву ставшему тогда уже известным Катаеву (брату Петрова). Катаев принял роман всерьез, позаботился об его издании. Впоследствии, кажется, при чтении романа изволил улыбнуться Сталин. Успех был обеспечен...^{xvi}

Ну, а потом пошли рационализации, индустриализации, директивы

партии. Тесно стало жить романтикам. Надо было или приспособливаться, или "причесывать" свое творчество под "партийную гребенку", или задохнуться в чужой атмосфере.

Багрицкий задохнулся от мучавшей его с детства астмы. Ильф писал мне: "Эдя перед смертью повторял свою строчку: "В раскрывшихся (от удушья — П. С.) глазах мелькают только птицы..."^{xvii}

Тот же Ильф, будучи незадолго до смерти (от злой чахотки) в Париже, говорил мне, что лучший их с Петровым роман так никогда и не увидит света — не пришелся ко времени^{xviii}.

Ю. Олеша где-то в Туркестане, кажется, усиленно заливает тоску водочкой^{xix}. Бабель канул в небытие^{xx}.

Мудрецы говорят, все на свете гибнет, проходит, изменяется, все течет. Ну, а нам, не очень мудрым, очень от этого грустно.

Париж

Комментарии и примечания

Воспоминания опубликованы в нью-йоркской газете "Новое Русское Слово", в номерах от 6-го и 13-го января 1952 г. При этом в конце публикации первой части указание на то, что "продолжение следует" — отсутствует. Наоборот, при публикации второй части имеется ссылка на начало. Вполне возможно, что отсутствие этой детали в номере от 06.01.1952 явилось результатом редакционной оплошности. Однако нельзя исключить, что вторая часть изначально не планировалась, и была добавлена по инициативе П. Ставрова или "НРС". Читатель, знакомый с другими публикациями П. Ставрова, обнаружит во второй части "Эдя Багрицкий и другие" некоторые детали, о которых автор рассказывал, например, в текстах: "Памяти Эдуарда Багрицкого" (впервые: журнал "Встречи" № 1, Париж, 1934 г.), "Полузабытое" ("НРС", 23.01.1949 г.) — все это вошло в сб. П. Ставров, "На взмахе крыла" (ВМВ, Одесса, 2003 г.). Повторы эти, думается, свидетельствуют прежде всего о том, что события, связанные с одесской молодостью, с кругом друзей исключительно напряженного революционного времени, не оставляли писателя на протяжении многих лет жизни, служили ему неким духовным ориентиром по которому он измерял как добро, так и зло. Пристально вглядываясь в ушедшую эпоху, в силуэты тех, с кем он был рядом или кого вообще знал, Ставров пытался не только дать оценку их присутствию в разных планах в своей собственной судьбе, а также в судьбе культуры страны и мира. Соглашаться с ним или нет в беглых характеристиках, которые он дает, допустим, Катаеву, Бабелю или Олеше, — такого вопроса стоять не должно. Ставров писал не историю южнорусской школы и не биографии ее представителей, а мемуары, которые всегда окрашены известной долей субъективности. Тем, впрочем, и любопытны. Можно отметить, кстати, что своеобразный внутренний ритм "Эдя Багрицкий и другие" он тонко акцентирует строками не Багрицкого, а Блока. То есть, Блок — автор "Двенадцати" — у него как бы обобщает все, что происходило в атмосфере разваливающейся империи, тогда как Багрицкий остается все-таки прежде всего одесситом и романтиком, на смертном одре цитирующим стихи, напи-

санные в юности. Блок — Багрицкий, у Ставрова, разумеется, не антитеза. Но мастера разные по мироощущению, опыту, а главное — по личной причастности к самому автору воспоминаний.

Указание при заголовке: "Одесса 1917-1918" тут следует рассматривать довольно условно, так как обе части текста строго не ограничиваются такими хронологическими рамками. При перепечатке газетного текста внесены некоторые исправления, типа: Катаев — вместо "Котаев", исправлены другие явные опечатки, в квадратных скобках добавлены слова, которых очевидно не хватает по смыслу. Написание "южнорусская школа" нами приведено в соответствии с современными нормами написания — у Ставрова через дефис. Некоторые другие слова, придающие рассказу особую лексическую окраску, сохранены в оригинальном виде. Несколько терминов и цитат проверить не удалось, они оставлены без изменения.

¹ В газетной версии — с маленькой буквы. Возможно, опечатка. Но при учете того, что очевидно речь шла о Черном море, нельзя исключить желание автора использовать тут прилагательное, подчеркивающее мрачный в то время характер этого моря.

² Б. Пастернак, "Марбург".

³ А. Блок, "Двенадцать", часть 1. Работа над созданием поэмы относится к январю 1918 года. Таким образом, утверждение Ставрова, что приведенные им строки были созданы "много позже", можно считать реально несколько преувеличенным.

⁴ Мад — псевдоним художника-карикатуриста Михаила Александровича Дризо (15.07.1887 г., Одесса — 23.09.1953 г., Париж).

⁵ Кирсанов Семен Исаакович. Поэт (18.09.1906 г., Одесса — 10.12.1972 г., Москва).

⁶ Сторицын (Коган) Петр Ильич (1894-1941), известен в первую очередь как друг Багрицкого.

⁷ Цитируется неточно. У Максимилиана Волошина в Dmetrius-Imperator (1591-1613), стихотворении, датированном 19 декабря 1917 г.: "...пушку зарядили, / С четырех застав Москвы палили / На четыре стороны земли. // Тут тогда меня стало много...".

⁸ С незначительными разночтениями — в альманахе "Ковчег" (Феодосия, 1920 г.). Ре-принтное изд. С комментариями: "Возвращение "Ковчег", Одесса, "Друк", 2002 г.

⁹ Осваг — осведомительное агентство, созданное с целью координации политико-идеологической работы правительства генерала А.А. Деникина.

¹⁰ Мочульский Константин Васильевич (28.01.1892 г., Одесса — 21.03.1948 г., Камбо, Франция) — историк литературы, критик, эссеист.

¹¹ В оригинале: Волл-Стрит.

¹² Э. Багрицкий, "ТВС" (сб. "Победители", М.-Л., ГИХЛ, 1932 г.).

¹³ Э. Багрицкий, "Арбуз" (сб. "Юго-Запад", М.-Л., 1928 г.).

¹⁴ С. Кирсанов. Творчество. 1943 г.

¹⁵ А. Блок. Цитируется неточно. В поэме "Двенадцать" так: "И старый мир, как пес безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост".

¹⁶ О том, как создавались и обретали славу эти романы, существует большая литература. См., к примеру: И. Ильф, "Записные книжки". Первое полное издание. М., "Текст", 2000 г., Щеглов Ю.К., Комментарии к роману "Двенадцать стульев". М. Панорама, 1996 г. и к роману "Золотой теленок", М., Панорама, 1995 г.

¹⁷ Из стихотворения 1916-го (по некоторым источникам 1917 г.) "Я отыскал сокровища на дне...".

¹⁸ Какое именно произведение имелось в виду — неясно.

¹⁹ В годы Великой Отечественной войны писатель был в эвакуации в Ашхабаде. О его "молчании" см.: А. Белинков, "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша" (первое издание: Мадрид, 1976 г.).

²⁰ Бабель Исаак Эммануилович (30.06.1894 г., Одесса — 27.01.1940 г. — в заключении).

Публикация и комментарии Виталия АМУРСКОГО
Париж

Послесловие

Пришло письмо от Александры Ильиничны Ильф.

"Дорогой Евгений Михайлович,

Только после того как я прочла Вашу книгу "На взмахе крыла", посвященную Ставрову, и увидела его фотографию, я поняла, что именно он изображен на фотографии (январь 1934) — у Фазини.

Книжка получилась прелестная, спасибо за упоминание обо мне и, конечно, и А.И. Ильфе.

Желаю здоровья и всего самого лучшего

А. Ильф



Как жаль, что Ставров не обнаружился раньше! Я вообще никогда не видела его фотографий, а мама тоже не была с ним знакома.

Думаю, что крупная дама слева — его жена. Кто знает?

Если будет возможность, опубликуйте, как фото из моего архива. Ставров сидит, Фазини — стоит. Январь 1934 года".

Кстати, так случилось, что в этом номере альманаха есть статья о Фазини и очередная публикация П. Ставрова.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ